

Дмитрий Лисейцев

Империя и её рождение*

Dmitry Liseitsev

(Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, Moscow;
HSE University, Moscow, Russia)

The Empire and its birth

DOI: 10.31857/S2949124X24060253, EDN: RJKHF

История, как и любая иная сфера научных знаний, описывает предмет своего изучения в том числе посредством ряда специальных понятий. Клио, впрочем, в силу присущей ей гостеприимности и щедрости, позволяет пользоваться своим языком учёным из смежных областей – правоведам, политологам и социологам, порой снабжающим позаимствованные у историков термины собственными дефинициями. Понятия эти, в силу «интуитивной доступности», пребывают в активном употреблении далёких от науки людей, вследствие этого зачастую теряя изначальное наполнение и приобретая эмоциональную (часто негативную) окраску. В качестве примера назову такие термины, как «оккупация» (в изначальном смысле обозначающий занятие территории в ходе военных действий, в обиходном же – исключительно временные успехи неприятеля, сопровождающиеся насилием над мирным населением), или «политический режим» (понятие, общепринятое в политологии, но в публицистике часто употребляемое как синоним «хунты»).

К числу терминов, чьё восприятие осложняется присутствием в об-

щественном сознании эмоционально окрашенных коннотаций, принадлежит «империя». Ситуацию осложняет то, что окраска эта у обладателей разных научных и политических взглядов может быть крайне контрастной – вплоть до диаметрально противоположной, демонстрируя широчайший спектр от ненависти («империя зла») до восхищения («великая империя») со множеством промежуточных оттенков: иронией – «Римская империя времени упадка сохраняла видимость твёрдого порядка» (Б. Окуджава) или осторожной отстранённостью – «Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря» (И. Бродский).

К рассуждениям об особенностях восприятия империи подталкивает читателя название, данное переводчиком недавно изданной в Санкт-Петербурге обобщающей работы замечательного американского учёного, крупного специалиста по истории России XVI–XVII вв. Нэнси Шилдс Коллманн, хорошо известной российским исследователям прежде всего по изданным на русском языке монографиям о России XV–XVIII вв.¹ Опубликованный в 2017 г. на родном

* Коллманн Н.Ш. Россия и её империя. 1450–1801 / Пер. с англ. В. Петрова. СПб.: Academic Studies Press / Библиороссика, 2023. 783 с. (Сер. Современная западная русистика).

Материал подготовлен в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

языке автора, этот труд, возможно, подобных размышлений не вызвал бы — его титул украшает суховатая в своей академичности формулировка «*The Russian Empire 1450–1801*»². Даже не знающий английского языка российский читатель с лёгкостью переведёт название книги как «Российская империя 1450–1801 гг.». Тем сильнее окажется его удивление, когда он обнаружит, что сделавший перевод для издательства «Academic Studies Press. Библиороссика» переводчик В. Петров подошёл к переводу названия книги творчески, наделив её именем «Россия и её империя. 1450–1801», вызывая в первую очередь ассоциации с творчеством советского детского писателя А.П. Гайдара. Соответственно, читатель вместо традиционного «Что хотел сказать автор?» задаётся вопросом: «Что хотел выразить переводчик?». И, должен признать, перевод названия книги вызывает некоторое недоумение, как если бы на упаковке с продуктами вместо привычной обнаружилась надпись: «Сибирь и её пельмени». Может быть, по замыслу Петрова название книги должно привести читателя к мысли,озвучной словам Е. Евтушенко («Я Родину свою люблю, но ненавижу государство»), заставить задуматься о том, что Россия не тождественна образованвшейся на её территории империи?

Вряд ли, однако, кто-то всерьёз стал бы отрицать последний тезис, поставив знак равенства между страной как этнической, социально-культурной, политической общностью и формой её государственного строя. Во всяком случае, автор анализирующей книги этого не делает, не разделяя изучаемого ею предмета на «Россию и её империю», но и не настаивая на полном растворении одного в другом. Строго говоря, выражение «Россия и её империя» читатель, помимо обложки, встретит лишь дважды —

в первой фразе предисловия к русскому изданию («Для меня большая честь представить российским читателям свой труд по истории России и её империи в раннее Новое время») (с. 5) и в заключении («французские просветители считали Россию и её империю “нецивилизованными”») (с. 751). Последний пассаж присутствует и в исходной версии книги³. Во всех остальных случаях и автор, и вслед за ним переводчик, употребляют вполне привычный российскому читателю оборот «Российская империя» («*the Russian empire*»).

В основу труда профессора Коллманн легла концепция «империи различий», чьей отличительной чертой, по её мнению, был отказ от тотальной универсализации, выражавшийся в сохранении в провинциях этнического и религиозного разнообразия (с. 5). Россия в этом отношении никаким образом не уникальна — в одном ряду с нею стоят Османская, Сефевидская, Китайская и Могольская империи, которые «управлялись из единого центра, но на языки, этническую принадлежность и верования покорённых народов никто не покушался — в них видели залог социальной стабильности». Корни такой терпимости исследовательница видит в империи, созданной Чингисидами, и все перечисленные государства в той или иной мере были её наследниками (с. 9). Мысль, безусловно, интересная, хотя, думается, такое соседство покоробит немалую часть российских читателей, привыкших ставить свою страну в один ряд с европейскими державами (даже довольствуясь статусом их «младшей сестры»), либо вовсе настаивать на абсолютной уникальности исторического пути и политической эволюции России. Между тем отрицать некоторую типологическую близость Московского государства и Османской империи,

по крайней мере на уровне идеологии власти, было бы не вполне справедливо. Достаточно вспомнить, чьим примером на заре формирования имперской идеи в России вдохновлялся автор «Большой челобитной» Ивана Пересветова: «Магмет-салтан, турской царь, взявші Царьград, да уставил правду и праведный суд, что Бог любит, во всем царстве своем, и утешил Бога сердечною радостию. За то ему Бог помогает: многия царства обладал Божиєю помощью. А он великую правду во царство свое ввел»⁴.

Признавая перспективность компаративного рассмотрения политических практик Османской империи и Московского государства, отмечу, тем не менее, спорность тезиса о генетическом родстве этих двух «империй различий» через «общего предка» — державу Чингисидов. Описанные Коллmann и её предшественниками черты «империи различий» обнаруживаются, например, у западного соседа России — Польско-Литовского государства (Речи Посполитой), где по меньшей мере до конца XVI в. недурно уживались поляки, литовцы, русские, белорусы, украинцы, евреи, немцы, татары; православные, католики, протестанты разных толков, мусульмане и иудеи. Подозревать причастность потомков Чингисхана к формированию социально-политических практик государства Ягеллонов явно не приходится. Более того, продвигаясь по карте Европы раннего Нового времени на запад, невозможно не заметить занимающую её центр Священную Римскую империю германской нации, имевшую, вопреки названию, очень пёстрый национальный, а с начала XVI в. — и конфессиональный состав населения. Безусловно, до определённого момента взаимоотношения между приверженцами разных направлений в христианстве здесь были крайне сложными и даже конфликтными, но

и религиозная толерантность русских царей и османских султанов имела свои пределы. Не отрицая, таким образом, права автора причислять Россию XV—XVIII вв. к «империям различий» и рассматривать её историю именно в этом ключе, отмечу, что описываемый Коллmann тип государства универсален и характерен для социумов со сложным национальным и конфессиональным составом, и искать истоки феномена «империи различий» исключительно в степях Монголии вряд ли правильно.

Нижней хронологической границей своего исследования Коллmann обозначила 1450 г., и, разумеется, следует осознавать условность выбранной даты. Действительно, угадать в Великом княжестве Московском 1450 г. империю сложно. Процесс «собирания русских земель» на тот момент был ещё далёк от завершения: Москве не подчинялись тогда ни Великий Новгород, ни Псков; сохраняли самостоятельность Ростов, Ярославль, Тверь и Рязань. Таким образом, московские князья уверенно контролировали на тот момент земли в радиусе 150–200 вёрст от своего столичного города. Междуусобица в великокняжеском доме едва достигла перелома — Дмитрий Шемяка уже изгнан ослеплённым Василием Тёмным из Москвы, но пока ещё находится убежище в Новгороде. Только что провозглашена автокефалия Русской православной церкви, а светская власть не могла ещё гордиться полным суверенитетом, продолжая выплачивать дань — «ордынский выход» — владыкам Большой Орды. Поэтому сложно принять утверждение автора о том, что Московское государство стало превращаться в «государство раннего Нового времени» около 1450 г. Во всяком случае, для доказательства этого тезиса недостаточно констатировать, что «Москва

уже управляла империей — многонациональной и многоконфессиональной страной, — поскольку подданные великого князя около 1450 года относились к восточнославянским, финно-угорским и тюркским народностям, исповедавшим православие, ислам и анимизм» (с. 73–74). Напомню, что финно-угорские народы были заметной частью этнической карты Древнерусского государства с самого начала его существования (и даже, согласно летописной легенде, участвовали в «призвании варягов»), а тюркоязычные торки и берендеи в статусе «своих поганых» находились на службе киевских князей в X–XII вв. Нужно ли, следуя за логикой Коллманн, считать «империей различий» Древнерусское государство?

Не стану останавливаться на тезисе о том, что «История первых веков существования русской империи — приблизительно с середины XVI до конца XVII века — поразительна для стороннего наблюдателя: сильнейший напор плюс почти полное отсутствие идеологии, описывающей имперский проект и проникнутой саморефлексией» (с. 95) — об этом уже сказано в рецензии моего коллеги (к слову, его перевод процитированного выше пассажа представляется более точным, по крайней мере, в передаче выражения *«sheer energy»* как «исключительной энергии», а не «сильнейшего напора»; наблюдатель же в переводе Петрова отчего-то стал «сторонним»)⁵. Отмечу лишь, что одним из показателей рождения империи — если не как факта, то в качестве претензии — является, на мой взгляд, именно возникновение имперской идеологии, настаивающей на уникальности места данного социума в мире и одновременно претендующей на универсальность и роль знамени, указывающего путь заблудшим. В России XVI в. таким идейным конструктом стал «Третий Рим», чьё по-

явление обозначило приближающееся завершение «пренатального периода» в формировании империи.

Не буду подробно разбирать и позицию Коллманн, отказывающей эпохе Петра I в праве считаться временем революционных перемен. Эта точка зрения не является авторским открытием, перекликаясь с мнением другого американского историка — Д. Островски, также относящего конец московского периода российской истории к рубежу XVIII–XIX вв., а начало — к 1450 г.⁶ Ряд российских историков в последние десятилетия также стали отходить от господствовавшего в историографии взгляда на эпоху Петра как на время цивилизационного разлома, подчёркивая эволюционную связь многих институтов и явлений XVIII столетия с предшествующим периодом. Но отказывать эпохе в революционности лишь на том основании, что при Петре I «сохранялась преемственность в базовых аспектах государственного строительства (имперская экспансия, институты управления, мобилизация ресурсов, терпимость к различиям)» (с. 18) мне не представляется справедливым. Собственно, почти всё из перечисленного Коллманн Российской империя пронесла и через XIX в. Скажу больше: Советский Союз тоже не отринул ни экспансивности, ни принципов мобилизационной экономики, ни известного интернационализма, но вряд ли этого будет достаточно, чтобы отрицать революционность событий 1917–1922 гг.

Наиболее интересным для анализа мне представляются не первые сто лет из избранного Коллманн временного отрезка, когда Русь, очевидно, империей *ещё* не была, равно как и последнее — XVIII столетие, когда Россия *уже* имела имперский статус, закреплённый в том числе и юридически. Важнее, кажется, сосредоточить

ся на рассмотрении той части текста, что посвящена второй половине XVI–XVII вв., тем более что и автор книги, и рецензент специализируются на изучении именно Московского царства.

Российскую империю исследовательница, следуя за длительной историографической традицией, как российской, так и интернациональной, считает наследницей сразу двух империй – Римской (точнее, Византийской) и Монгольской. Последней отводится особая роль: Коллманн утверждает, что «Принимая титул царя в 1547 году, московский великий князь подчёркивал, что его легитимность происходит от чингизидов – в монгольских источниках слово “царь” обозначало и местных ханов, и византийских императоров» (с. 220). Откровенно говоря, я не имею ответа на вопрос, в каких именно «монгольских источниках» употреблялось слово «царь», тем более в отношении византийских василевсов. В русских же источниках последних, как и ордынских ханов, действительно именовали «царями» (как, впрочем, и библейских правителей Иудеи, и даже центральную фигуру христианского вероучения). Оставим, однако, приоритетное право спорить о том, строили ли в Москве XVI–XVII вв. «Третий Рим» или же «Второй Сарай», евразийцам.

Автор книги не склонна ни идеализировать, ни демонизировать изучаемую ею империю, отмечая, что «создание и сохранение империи осуществлялись за счёт насилиственных завоеваний, жесточайшего крепостничества, нищеты и несвободы основной массы населения». Между тем она верно указывает, что подобное не было исключительным проклятием России: «Данное утверждение можно отнести к любой стране мира в тот период – к Америке с её рабством, к европейским колониальным империям, основанным на рабовладении, к Ос-

манской империи... – но от этого оно не становится менее верным» (с. 765).

Профессор Коллманн далека от того, чтобы характеризовать власть русских государей как деспотическую. Неограниченная «в теории», на практике она ограничивалась «имперским воображаемым», т.е. идеальным образом должного поведения монарха: от него ждали набожности, правосудия и защиты народа от различных угроз. Как ей представляется, «именно это ожидание, в отсутствие конституционных гарантий или права на сопротивление, служило оправданием для народных низов, поднимавших мятеж против правителя, который не выполнял своих обязанностей. Лишь в редких случаях московские правители вели себя единовластно и деспотично, и поэтому зверства Ивана Грозного вызвали такое потрясение» (с. 261). Вынужден, однако, заметить, что упомянутое автором «потрясение от зверств» в годы царствования Ивана Грозного не вылилось в мятежи и восстания, а власть, не имеющую никаких внешних ограничений (кроме удавки и табакерки, вышедших на историческую авансцену российской истории в самом конце рассматриваемого периода), всё-таки следует признать неограниченной (что, разумеется, не синонимично деспотичности).

Что же касается мятежей как реакции на не соответствующее ожиданиям поведение монарха и его окружения, то они стали нередким явлением лишь в XVII в., когда страна прошла через длившуюся полтора десятка лет гражданскую войну – Смуту. Смутному времени в истории Московского государства принадлежит особое место, но развёрнутого анализа этой эпохи в книге Коллманн, к сожалению, нет. Периодически отмечая перемены, принесённые этим кризисом в жизнь страны, исследовательница, однако, ограничилась лишь конспек-

тивным изложением основных вех того периода, так и не определившись с его хронологическими границами: в ряде случаев она пишет о начале Смуты в 1598 г. (с. 23, 52), иногда относит его к 1605 г. (с. 120, 252). Лишь завершение кризиса в книге датируется всегда одинаково — 1613-м годом (тогда как современная российская историография склонна относить завершение этой гражданской войны к 1618–1619 гг.). Библиография Смутного времени, приведённая в книге, отчасти объясняет некоторую «внитажность» взглядов американской коллеги. Из российских исследований она упоминает классический, фундаментальный, но написанный более 120 лет назад труд С.Ф. Платонова, хотя, не сомневаюсь, новейшие исследования Б.Н. Флори, В.Д. Назарова, И.О. Тюменцева, В.Н. Козлякова, не говоря уж о книгах Р.Г. Скрынникова, профессору Коллманн хорошо известны. Англоязычная историография Смутного времени, указанная в библиографии, более молода, но и здесь последняя по времени выхода работа относится к 2006 г. (с. 266).

Заслуживают внимания и рассуждения Коллманн о политических институтах верховной власти Московского государства — Боярской думе и земских соборах. Вопреки мнению большинства российских историков, исследовательница не склонна отводить им значительного места в политической системе страны (напомню, именно наличие Боярской думы с лёгкой руки В.И. Ленина стало для советских историков поводом считать самодержавие XVII в. ограниченным⁷, а земские соборы традиционно считаются основным доказательством пребывания Московского государства XVI–XVII вв. в статусе сословно-представительной монархии)⁸. Не попавшая под обаяние российской и советской историографической тра-

диции, профессор Коллманн, на мой взгляд, очень близка к истине, когда пишет: «Позднейшие историки сделали из этой системы консультаций целый институт — Боярскую думу, словно речь шла о постоянном протопарламентском учреждении. В таком виде она являлась скорее воплощением фантазии историков: совещания с боярами устраивались постоянно, но разговор с каждым вёлся по отдельности, и часы таких встреч были чётко установлены только в конце XVII века» (с. 232). Столь же скептичен её взгляд на земские соборы, определённые как «бесформенные собрания представителей различных сословий», которые «не обладали ни одним из признаков парламентов раннего Нового времени (установленные сроки созыва, разделение на палаты, где заседали делегаты от разных социальных групп, выборный и/или представительный членский состав, законодательное разделение сфер компетенций, финансовые, законодательные и прочие полномочия, ограничивающие права исполнительной власти)». Смысл созыва земских соборов Коллманн видит в том, что те «давали властям дополнительную легитимацию при наступлении политических кризисов или важных событий», приписывая им также функцию «коммуникации между властью и обществом, и особенно — между центром и окраинами». Отмечу, что с последней задачей очень неплохоправляясь другой, реально существовавший и действовавший институт, а именно практика подачи челобитных (с. 233).

Высокую оценку профессор Коллманн дала приказным служащим Московского государства. Как отмечено в книге, «несмотря на структурное и функциональное разнобразие, московская бюрократия была высокопрофессиональной благодаря серьёзной подготовке, эффективно-

му надзору и более или менее адекватному вознаграждению. Приказные люди в Москве обязательно проходили, один за другим, все установленные этапы карьеры, каждый из которых мог длиться несколько лет» (с. 294). В целом эта картина верна, но считаю, что необходимо отметить ряд частностей. Не буду оспаривать применимость к приказным людям XVI–XVII вв. термина «бюрократия», тем более что наиболее авторитетный специалист в данной области Н.Ф. Демидова полагала его вполне адекватным обобщающим определением дьяков и подьячих Московского государства⁹. Относительно же «более или менее адекватного вознаграждения» возможны споры: при годовом прожиточном минимуме в 3,5–4 руб. значительная часть приказных подьячих имели очень небольшой оклад. Из 45 человек, служивших в 1633/34 г. в одном из наиболее важных ведомств страны – Разрядном приказе – более трети (18) получали 10 руб. и меньше (в том числе девять подьячих служили за жалованье в 3–4 руб.)¹⁰. Адекватным такое вознаграждение назвать очень трудно, и неудивительно, что ради выживания своего семейства подьячим приходилось прибегать к неадекватным способам обогащения, что с неизбежностью порождало коррупцию. Не совсем точно утверждение об обязательном прохождении приказными служащими всех этапов карьеры. Чаще всего именно так и было, но известно немалое количество случаев, когда человек (особенно выходец из торговой среды) становился дьяком без предварительной службы в подьячих. Относительно численности приказных служащих приведённые Коллманн данные вызывают удивление: в 1626 г., по её сведениям, в московских приказах служили 656 дьяков и 575 подьячих, в 1698 г. – дьяков 2 762, подьячих – 2 648. Во-первых, из

этого следует, что на протяжении всего XVII в. далеко не каждый дьяк имел в подчинении хотя бы одного подьячего; во-вторых, такого количества дьяков в России никогда не было – даже на исходе XVII столетия в приказах их одновременно числилось менее 100 человек. Впрочем, природа этой ошибки в подсчётах вполне понятна: данные о численности приказных служащих взяты из таблицы в книге Демидовой. И если данные о количестве подьячих позаимствованы корректно, то астрономическая численность дьяков появилась из последней строки таблицы, где указано общее число приказных служащих (судей, думных дьяков, дьяков и подьячих)¹¹.

Отдельному рассмотрению подверглась экономика Московского государства. В соответствии с подходом к периоду как к истории империи, взгляд американской исследовательницы оказывается сфокусированным на потребностях государства: «Российская экономика в раннее Новое время держалась преимущественно на прямых и непрямых налогах, взимаемых с горожан и крестьян, занимавшихся преимущественно сельскохозяйственным трудом. Именно они обеспечивали основную часть поступлений в государственный бюджет» (с. 333). Не стану изрекать прописных истин о том, что экономика не равна бюджету – очевидно, что речь здесь идёт именно о последнем. Отмечу лишь, что доля прямых налогов в России по меньшей мере до середины XVII в. была относительно невелика, и казна не менее чем на $\frac{2}{3}$ пополнялась за счёт поступления косвенных налогов, главным образом кабацких и таможенных денег. Характеризуя фискальную политику российского правительства XVI–XVII вв. как «бездумную», автор приводит цифры, способные повергнуть в ужас неподготовленного читателя: «В 1610–1620-е годы ставка

поднялась опять, в связи с войнами Смутного времени и необходимостью восстановления хозяйства после них – до 1200–1600 рублей за сохи. В 1630-е годы она уменьшилась до 500–560 рублей, но к середине столетия взлетела до 1700 рублей, при том что инфляция была сравнительно небольшой» (с. 336). О каком именно налоге (или их совокупности) здесь идёт речь, в книге не поясняется, но цифры, действительно, пугают. Впрочем, источники показывают иную картину: наиболее крупная прямая подать – стрелецкие деньги – вскоре по завершении Смуты взималась по ставке 90 руб. с сохи; в 1630-х гг., вопреки обозначенной Коллманн тенденции, этот налог вырос (на короткое время в максимуме до 240 руб.), чтобы к 1640-м гг. стабилизироваться на отметке в 168 руб.

Уделено внимание и сбору косвенных налогов – таможенных и кабацких денег, причём читатель узнаёт, что продавать алкоголь «разрешалось только в лавках, принадлежавших государству или откупщикам» (с. 336). «Лавки» для торговли алкоголем в России XVII в. это, разумеется, терминологический курьёз, копирайт на который принадлежит автору, не ориентировавшемуся в экономических реалиях Московского царства, и переводчику, не обязанному знать, что ни в каких лавках хмельным питьём тогда не торговали – этим занимались исключительно кабаки (с середины XVII в. – кружечные дворы), причём они ни в коем случае не могли принадлежать откупщикам. Кабаки являлись исключительно государственными, откупщики здесь могли быть лишь арендаторами. Крайне обобщёнными и далёкими от реальности приходится признать и представления автора о системе откупов: «Откупа чаще встречались в центре страны и в степном приграничье, чем на севере (где органы

местного самоуправления назначали лиц, ответственных за сбор налогов). Гости – богатейшие купцы, имевшие право торговать с другими городами и странами, – обладали возможностью приобретать самые выгодные откупы (например, винные откупа в Москве)» (с. 336–337). Сохранившиеся документы первой половины XVII в. показывают, что географической зависимости в распределении откупов не наблюдалось. Откупщики нередко встречались и в городах Русского Севера, даже в таких крупных, как Новгород, Псков и Вологда, поскольку слабое в экономическом отношении посадское население не могло противостоять интервенции обладателей крупных капиталов и их влиятельных покровителей. Что же касается гостей, то их откупа обыкновенно не привлекали, поскольку заставляли сосредоточиться на экономической эксплуатации одного города и уезда, лишаясь возможности лично контролировать торговые операции в гораздо более широких предпринимательских горизонтах. Намного чаще, чем откупщиками, гости бывали таможенными и кабацкими головами в крупных экономических центрах масштаба Архангельска, Ярославля, Казани и Астрахани. Но эта функция являлась для них разновидностью государственной службы, и от неё при возможности представители богатейших торговых фамилий старались уклониться.

Наконец, отдельного разговора заслуживает территориальный рост Московской державы. Ведь именно во второй половине XVI – XVII в. произошло небывалое – шестикратное – увеличение занимаемого ею пространства, причём страна приблизилась к контурам своих нынешних географических границ. Как примирить факт столь быстрого расширения, собственно и подарившего стране черты, приписываемые автором книги «импе-

риям различий» (многонациональный и поликонфессиональный состав населения) с афоризмом классика исторической науки Ф. Броделя («Расстояние – враг империй»), повторённым профессором Коллманн на страницах её книги трижды (с. 7, 113, 301)?

В XVI–XVII вв. основные векторы распространения власти русских монархов были направлены на восток (в Сибирь) и на юг (Великая Степь). Освоение земель на обоих направлениях описано автором с позиций, которые вряд ли примет большинство российских учёных, воспитанных в историографических традициях «добровольного вхождения» и «прогрессивной роли». В частности, по мнению Коллманн, «продвижение русских по Сибири оказалось быстрым, так как было безжалостным». Вымогательство и истребление беззащитных сибирских народов являлось основным фоном покорения Зауральских земель: «Ватаги казаков прочёсывали всю Сибирь, наскоро возводя деревянные остроги, убивая и обращая в рабство местных жителей, оказывавших сопротивление, вымогая дань... Обладая огнестрельным оружием, казаки уничтожали коренное население, располагавшее лишь луками и стрелами; сибирские племена были слишком небольшими и обитали слишком далеко друг от друга, чтобы эффективно сопротивляться этому» (с. 107). Доказательством жестокости россиян в отношении коренного населения исследовательница полагает скромную демографическую динамику: если на начало XVII в. в Сибири жили 227 тыс. человек, то в 1795 г. – всего 360 тыс. (с. 109). Насилие, по мнению автора, сопровождало и строительство городов-крепостей на южных рубежах страны: сюда против их воли переселяли людей из других регионов, в частности дворцовых крестьян из под Рязани и татар со Средней Вол-

ги (с. 117); крестьян насильственно переводили на Белгородскую черту – в один лишь Царёв-Алексеев в 1647 г. отправили свыше тысячи человек (с. 273). Вынужден отметить, что реальная картина была иной – гарнизоны крепостей по «черте» составлялись в первую очередь из служилых людей – городовых казаков, стрельцов, пушкарей и зatinщиков; переводили в пограничные города и детей боярских из соседних уездов. Массово переселять туда крестьян в условиях обострившейся борьбы за рабочие руки, вылившейся в итоге в 1649 г. в окончательное юридическое оформление крепостного права, было и нерационально, и невозможно.

Но, повторюсь, как же быть с «врагом империй»? Почему развитию России как империи, пришедшему на вторую половину XVI и XVII столетия, не помешал стремительный рост территории страны? И здесь я рискну возразить Броделю: расстояние выступает в роли врага империи не всегда. Огромные пространства, слабо связанные между собой неразвитой транспортной системой, разумеется, препятствуют быстрому доведению воли центра до населения провинций. Однако они способствуют поддержанию идеализированного образа носителя верховной власти – «доброго царя» при неизменно «лихих боярах», одновременно замедляя формирование способных требовать и бороться за свои права социальных групп, осознающих своё единство в масштабах целого государства. Не от того ли и социальное недовольство в «бунташном» XVII столетии стало лишь чередой локальных городских бунтов, так и не слившимся в единое движение? Не потому ли и в восстании С. Разина, самом значительном по площади, охваченной мятежами, ядро повстанческих сил составили мобильные казачьи отряды, а крестьяне,

как правило, старались не покидать пределы своих волостей? Не гасила ли копящееся недовольство возможность уйти за пределы досягаемости царской администрации и крепостнического строя в далёкую Сибирь, вместо того чтобы противостоять растущему социальному и налоговому гнёту в родных краях? Думаю, что огромные расстояния и пространства, составившие в XVI–XVII вв. «тело» Московского государства, помогли ему обрести имперскую «душу». Петру I оставалось лишь одеть империю в мундир европейского покроя и выписать соответствующее её статусу удостоверение личности.

Книга, совершенно очевидно, не лишена неточностей и даже ошибок. Отчасти причиной их появления является обобщающий характер и огромная – в три с половиной века – хронология труда. Искажения здесь неизбежны, и вряд ли российский американист оказался бы в лучшем положении, возьмись он писать историю Америки от «Мейфлауэра» до Р. Никсона. Но, думается, в большей степени уязвимости текста Коллманн способствовала декларированная ею в самом начале книги сознательная ориентация преимущественно на труды своих соотечественников. Это не означает отказа от привлечения наиболее значимых с точки зрения автора работ российских учёных. Из наших современников наиболее активно в книге цитируются Я.Е. Водарский, В.М. Живов, В.М. Кабузан, А.Б. Каменский, Б.Н. Миронов и Б.А. Успенский, однако их именами историография российской истории XV–XVIII вв. не исчерпывается. Но в библиографию Коллманн включила «преимущественно англоязычные труды как самые доступные для наших читателей» (с. 17). И это замечание наилучшим образом определяет адресную направленность исследований

– книга предназначена в первую очередь англоязычному читателю.

Означает ли это, что работа Н.Ш. Коллманн бесполезна или неинтересна российскому историку? Отнюдь нет, и резонов прочитать труд американской исследовательницы у него как минимум два. Во-первых, книга содержит массу полезных отсылок к современной англоязычной литературе по истории России, помогая исследователю расширить свой кругозор ознакомлением с сочинениями, о существовании которых он мог и не знать. Во-вторых, обобщённый взгляд на российскую историю «со стороны» способен если не изменить исследовательскую оптику российского историка, то, по крайней мере, дать возможность рассмотреть некоторые темы и сюжеты под новым углом. Ведь увидеть предмет своих штудий глазами коллеги – небеспристрастного, но в меньшей степени растворившегося в объекте наблюдения – всегда полезно.

Примечания

¹ Коллманн Н.Ш. Соединённые честью. Государство и общество в России раннего Нового времени. М., 2001; Коллманн Н.Ш. Преступление и наказание в России раннего Нового времени. М., 2016.

² Kollmann N. Sh. The Russian Empire 1450–1801. Oxford; N.Y., 2017. Книга получила высокую оценку в зарубежной исторической науке и охарактеризована как «подарок, сделанный учёным, наиболее тесно знакомым с источниками и наукой, всему спектру людей, интересующихся русской историей, – от широкой публики до специалистов» (Beilinson O. Review of «The Russian Empire 1450–1801» // Reviews in History. 2017. № 1). Работа встречена благосклонно и отечественной наукой: книга Коллманн, не дав чёткого ответа на вопрос о времени превращения России в империю, тем не менее «предлагает богатый систематизированный материал для размышлений на данную тему, за что мы вполне можем быть благодарны автору» (Кром М.М. Рец. на: Nancy Shields Kollmann, The Russian Empire 1450–1801 (Oxford and New York:

Oxford University Press, 2017). 497 pp., ills. Index // Ab imperio. 2017. № 4. С. 302).

³ «Writers of the French Enlightenment were coming to regard Russia and its empire as “uncivilized”» (Kollmann N. Sh. The Russian Empire... P. 451).

⁴ Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9. Конец XV – первая половина XVI века. СПб., 2006. С. 446.

⁵ Кром М.М. Рец. на: Nancy Shields Kollmann... С. 295–296. Ср.: Kollmann N. Sh. The Russian Empire... P. 55.

⁶ Ostrowski D. The End of Muscovy: The Case for Circa 1800 // Slavic Review. Vol. 69. 2010. № 2. P. 427–438.

⁷ Ленин В.И. Как социалисты-революционеры подводят итоги революции и как революция подвела итоги социалистам-революционерам // Ленин В.И. ПСС. Т. 17. М., 1968. С. 346.

⁸ Юшков С.В. К вопросу о сословно-представительной монархии в России // Советское государство и право. 1950. № 10. С. 39–51.

⁹ Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII века и её роль в формировании абсолютизма. М., 1987.

¹⁰ РГАДА, ф. 210, оп. 6ж, кн. 286, л. 208 об.–209.

¹¹ Демидова Н.Ф. Указ. соч. С. 23.

Николай Минников

Рец. на: Южный и юго-восточный фронтier России в XVI–XVIII веках: очерки истории. Коллективная монография. Ростов н/Д: Альтаир, 2024. 864 с., ил., карты

Nikolay Mininkov

(Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia)

Rec. ad op.: Yuzhnyi i yugo-vostochnyi frontier Rossii v XVI–XVIII vekah: ocherki istorii. Kollektivnaya monografia. Rostov-on-Don, 2024

DOI: 10.31857/S2949124X24060261, EDN: RJWNVI

Монография, созданная группой известных историков из Тамбова, Воронежа, Ельца, Белгорода, Самары, Саранска и Уфы, посвящена актуальным проблемам современной отечественной исторической науки. Одной из них является история формирования территории России, её развития и закрепления в политическом пространстве государства. Другая заключается в раскрытии содержания понятия «фронтier». В настоящее время это понятие уже достаточно известно в российской историографии, хотя полной ясности относительно его характерных признаков по-прежнему нет. В предисловии и пяти главах монографии также рассматриваются формирование и развитие отдельных территорий и анализируются

региональные особенности южной и юго-восточной окраин страны. В качестве метода исследования применяется междисциплинарный анализ с использованием данных исторической географии, экономической и социальной истории, новой локальной истории и микроистории, а также математических методов.

В предисловии значительное внимание уделено характеристике термина «фронтier». На этом основано теоретическое обоснование положений и выводов исследования. Это необходимо, поскольку данное понятие не только сложно и включает в себя разные качественные элементы, но и не всегда признаётся в качестве категории, с необходимой точностью описывающей ситуацию в зоне межэтнических